

Ал. Михайлов

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ скопление по страницам «Пирамиды» открывает даже не ту малую часть айсберга, что выступает над водой, а лишь ее иссеченную сырыми полярными ветрами ребристую поверхность. Содержание его уводит в темную подводную часть ледяной глыбы, как пирамида Хеопса, не дающая покой ученым своего внутреннего тайны.

Роман представлен в незнакомом виде, поэтому внимательный читатель заметит нестыковку отдельных его частей, не всегда встроены в повествование диалогические и описательные фрагменты. Леоновский стиль изложения, элитарный, но и витиеватый, а иногда коварно запутанный. Кое-что здесь объясняется отсутствием последней авторской редактуры. Ведь начало работы над романом относится к концу 30-х годов. В беседе с автором этой статьи (осень 1987) Леонид Максимович сказал, что, разбирая огромную рукопись романа, есть разные варианты, он по стилю может безошибочно указать время, когда, в каком физическом и психическом состоянии эти страницы были написаны.

И наконец, жанр: «роман-наваждение». Слово «наваждение» автор принял в далеком написании через «а» (от существительного «навада»), это — соблазн, призыв, искушение злом силой. Леонов не раз пытался пролить мистический покров жизни, как, впрочем, и многим людям вела страстишка, преодолевая страх, заглянуть по ту сторону бытия. Что только стоят сказки наши, с их чертами, лешими, домовыми!

Мистический иероглиф Леонида Леонова — насыщенный присутствием инфинитальных сил. Художник и мыслитель, доживший до глубокой старости (95 лет), переживший все войны и революции XX столетия, он знал цену слова, в том числе и своего, не рассчитанного на массу читателей, но он ни на кого не навлекал страха и тем более не вселял радужных надежд. Он знал историю отечества и мира, историю культуры. И знал свой народ. И мне представляется искусственным оптимистический вывод вступительной статьи к роману (М., «Голос», 1994) — ведь часто встречающийся в тексте наивный человекостроитель «сон золотой» на бытовом фоне жизни страны создает дисгармонию мечты и действительности.

Нелишне привести такие слова Леонова: «Признаться, никогда раньше вызревание темы не протекало во мне так болезненно... Может быть, поэтому автор как бы отстраняет себя от «наваждения», от еретических видений и мыслей своих персонажей. Но в то же время он в некоторых случаях берет на себя роль их истолкователя и доверяет некоторым персонажам свои мысли. Создается иллюзия, что мистический иероглиф современного мира выписан совместными усилиями не только автора, но и его героев, на которых снизошло наваждение.

ПОП-ЕРЕТИК

Пробиваясь к духовной сердцевине романа сквозь клубящийся туман наваждений на всех трех плоскостях пирамиды («Загадка», «Забавы», «Западня» — за-за-за...), приходишь к мысли, что «ключевой миф» в этом смелом умов действии заключен в образе Матвея Петровича Лоскутова, бывшего священника, волею судьбы попавшего из вятской глуши на скромное место в церковью подмосковного Старо-Федосеевского кладбища. До рукоположения он был шорником, а после закрытия церкви занялся сапожным делом, обеспечивая семью хлебом насущным. На заброшенном погосте, в прилежном домике, где живет семья Лоскутовых, а также один из самых значительных персонажей, сын прислуживавшего в церкви Финюгина — Никанор Шамин, и происходят многие важнейшие события, встречи и разговоры. Здесь же впервые появляется и главный герой романа — посланец небес ангел Дымков. Старый погост, полуразрушенный храм, дряхлеющий домик — печальные знаки распада, предела земного бытия. А если заглянуть дальше, вдуматься в споры и размышления героев романа, то и «возрастного эпизода человечества», завершения некоего цикла. «Старом и везет», — замечает автор.

По характеру отец Матвей принадлежал к «нестерпимой породе русских людей, от века стремившихся полагаться на незримый яблоком, чтобы по стопам не хрипели от оскомины». Это и нетерпение физического действия, и нетерпение ума, когда расстояние от замысла к опыту опровергает разумные сроки. Матвей Лоскутов тем и похож на нетерпеливых русских людей, что как-то скоро, несмотря на все надругания новой власти над церковью и духовенством, стал искать примирения с нею и думать о том, «как же придется мяться бедному коммунизму по отсечению крыльев веры».

Главный парадокс состоит в том, что «еретические» мысли впервые исходят от лица священнослужителя. Началось как бы от ума, но когда жизнь полировала отца Матвея и его семью, когда не помогает и самозащитное, что Вещавшему-то неслучайно «за камином увидеть да пощипать», вот тогда он обвинил Создателя «в прямой потемке торжествующему Злу».

Зло не выглядело бы столь убедительно в фантастических диалогах и гротесковых эпизодах без реалистических сцен. К примеру, увидел на базаре отец Матвей, как немолодой и непыльный мужик неведомо за что бил холостую кобылку влое сложной колодезной цепью, а на крупе лошади появлялись барговые валуны. За избиением наблюдала толпа, и никто не предпринял попытки вмешаться.

В великой растерянности рассказывал об этом отец Матвей дома, особенно негодовал на то, «какими он словами, под какой картиной, Бога своего кастерил». Сценка вписана в сюжет романа в семье Лоскутовых — уход, предельство любимого старшего сына. Предшествует ей, а потом и продолжается причинный ностерпимую бол старшим Лоскутовым их семейный спор с Валюшкой. И вот тут-то вспоминается жеребеночек, бывший свидетелем избиения матери. Душа спрашивает у отца, мол, как же он, конячка-то, «небось глаз не соиди?» На что отец отвечает: «Много ли стребуешь с несмысленно?» Но потом все же добавляет, что жеребеночек-то поглядывал на мамку, а «под конец стал и у него холостой всякий раз подраивать». Младший, Егор, несприимым к предельству старшего, спрашивает, посмотрев на брата: «Синхронно, значит?» И тут «вору открылось, в чей адрес предназначалась Матвеев рассказ».

Жеребеночек-то — Егор, его ребячьи кулачки сравниваются с копытцами. Но кто же лошади и кто хозяин? А если предположить неверное: и отец, и сын, все семья, с толпой вместе, и есть та самая несмысленная лошадь, которая в конце концов должна пасть под ударами цепи, сложной влое? И уже это сюжет выписывается в общую картину, где все живое, чувствующее, первое не в сиед противостоит побеждающему Злу. Он гнетет освоенным от авторской иронии мраком бесчувствия. Анастезия пронизывает и все сцены мистического содержания.

В споре братьев, где младший зашипал дом и семью, а старший хотел устроить рай для всего человечества, есть какая-то внутренняя фальшь. Кажется, что старший, Валюшка, больше убеждает себя, чем своих родных, а младший, Егор, не по возрасту жестких резонерских выпадов обнару-

Независимая газ. — 1999 — 28 мая — с. 12
К 100-летию со дня рождения Леонида Леонова

МИСТИЧЕСКИЙ ИЕРОГЛИФ «ПИРАМИДЫ»

Загадочный писатель, которого еще не прочитали

Живает не столько чувство, сколько изворотливость ума, что потом и подтверждает, когда над семей гнетет еще горшая беда.

Кстати, этот не по возрасту рассудительный мальчик весьма остроумно среагировал на слова Вадима о Сыне Божьем, который в «эпикальном идеале» — в белом венчике из роз совершает обход столицы во главе матросского патруля. Егор оставляет на будущее разгадку «загадочного ребуса: куда, зачем и, главное, к т о именно, загроможденный под Христа, увидел простодушных ребят в самую темную ночь нашей страны».

Загадка образа отца Матвея состоит в том, что как «ключевой миф» он — самая реалистическая сочно, в бытовых подробностях выписанная фигура романа. Еретические мысли об «ошибках Создателя» тоже опущены на бытовый уровень: «откуда взялся был на земле, почему гора и работы роздано людям на порогу?» Его мысли о первоначальной греховности Адамовой, сомнения в «логичности» погнута Христа позволяют думать о неведомом, грядущем на смену Христу пороке, который «привнесет в мир несколько иное толкование добра и зла».

Вообще-то судьба отца Матвея, разжалованного священника, и впрямь напоминает судьбу пророка Иова, который, претерпев многие муки, боли, лишившись любимого сына, тоже сомневался в премудрости Божией. Только конец отца Матвея в его земном пребывании остался нам неведом. А попытка найти оправдание безбожной власти является не просто знаком исхода, но и возможного завершения исторического и связанного с ним христианского цикла. Эта мысль имеет тенденцию к прямому высказыванию в романе, что подтверждает короткое авторское предупреждение о близости «самого грозного из всех когда-либо пережитых нами потрясений — вероисповедных, этнических и социальных».

Леонов не случайно упоминает апокрифическую «Книгу Енох». Его роман — апокриф XX века, верный об «уверенности человеческой природы», о несомненности «духа и глины». Воплощение такого замысла в традиционном реалистическом повествовании непростительно.

ПОСЛАНЦЕ НЕБА

Поэтому в роман вводится, как бродильное начало, посланец неба ангел Дымков — воплощение Добра. Зло на земле представлено в облике лоскутчиков, палачей, предателей, наконец, персонажи романа в лице корифея материалистических наук профессора Шатанинского, в фамилии которого просвечивает его запредельное представительство. На вершине пирамиды власти — фигура вождя.

(Действие романа происходит в конце 30-х годов — когда, по признанию автора, возник замысел и началась работа над ним, шелась с большим переживанием до конца жизни. Интересно было бы знать, какую окраску имели реальность 30-х годов, господствовавшая тогда идеология и фигура вождя в первичном замысле романа. Ибо не вызывает сомнений то, что события последних десятилетий оказали влияние на его окончательную концепцию. Особенно это касается образа Сталина и того исполненного зли иронии стилистического ореола, которым сопровождалось всякое его упоминание.)

Сперва же дней появления на земле Дымкова разработано под тайным наблюдением. По одному набросанному плану Дымков должен был замочить «худой человечинкой», потеряв ангельский дар и возможность вернуться — «в никуда небесам». По другому (план Шатанинского): «Юлия — Дымков — Сорokin: земная игра — обаяние — шантажный фильм...» Юлия — дочь ширкового дельца Дюрсо, мечтающая о карьере кинозвезды, Сорokin — «полудевицкий» режиссер, сделавший имя на создании праздничных оптимистических фильмов.

Судьба же Дымкова (не без ведома запредельных сил) оказывается в руках ширкового махинатора Дюрсо. Обнаружив необыкновенные способности Дымкова творить чудеса, он использует их в корыстных целях, далеко простирая свои намерения. Но, боясь экстраординарных поступков своего полюбленного в обществе людей (опахлах, например, задержанный милицией Дымков просто исчез из-под ареста), приставляет к нему свою дочь Юлию.

Находясь под неусыпным контролем Юлии (а также под наблюдением тайного сына) и с ее помощью Дымков постепенно осваивается в чуждом обществе обитания, он уже может где-то «прилечь» и даже «в местном покое пожить». Но вместе с «человечеством» происходит потеря будущего, на что рассчитывала власть в Кремле. Создается впечатление, что он «скоростной проходит все фазы адамовой развития», в том числе и грехопадение, до которого все же окончательно не дошел, несмотря на честолобный замысел Юлии — с его помощью родить миру Антихриста.

Дымков во всем уступает своему антиподу Шатанинскому, отражая общее состояние борьбы Добра и Зла на земле. И уже на вопрос отца Матвея, действительно ли он ангел, Дымков начинает открещиваться от ангельского звания. Одна за другой рушатся надежды, возлагаемые на всемогущество Дымкова. Разваливается ширковая программа, которая успела приобрести невиданный успех, за нею — падение Дюрсо, а потом и одного из самых приближенных к Хозяину — «полусоратника» товарища Скудина. Рушится надежда Сорokin и Юлии на создание фильма, как рушатся эфемерные музеи, созданные для Юлии Дымковым. И напрасной оказывается попытка Дуни обратиться к нему за помощью, когда арестовали Вадима. Вест о его гибели в лагере — утрата последней надежды, «ангел ушел, одна иктура от ангела осталась».

Единственное, на что еще хватало Дымкову ангельского усилия, — оторваться от грешной семьи через ту нарисованную железную дверь в колонне старого храма, откуда он явился, избежав новой встречи с «величайшим человеком всех континентов и революций, не говоря уже о временах и народах».

АНТИПОД

Представитель запредельной силы на земле, Шатанинский, обладает преимуществом перед Дымковым в умении вести интригу да при этом тоже совершать чудеса. Что и позволил себе продемонстрировать с вызовом из конспиратора для свидания с родными уже погубленным там Вадимом. Все дьяволиада романа исходит от Шатанинского. Почти не обозначая сюжетно, она прямо ведет к голдаке о своей тайной связи с режимом утращения. Шатанинский — автор великих трудов в «передовых науках», заведующий кафедрой, учитель и воспитатель Никанора Шамина.

Сюжетный парадокс: Никанор устроил встречу Шатанинского и отца Матвея в домике при кладбищенской церкви!

Матвей Лоскутов, человек неглупый, разгадал Шатанинского, хотя тот предстал перед ним не как примитивный агитпропщик, а во всеоружии аргументов. Он сразу озадачивает отца Матвея рассуждениями о русском народе и по вопросам христианского вероучения, а также о грехах пра-

матей вождя. Он видел многое, хотя понимал не все, что происходит. С одной стороны, задумывался о фатальной неизбежности массы «грозных» в оправдание великой цели, а с другой — провозглашал: «но невозможности убить целый народ судьба надоумит его досрочно выйти из игры...» Так вот, «надоумить» решил, написав историческую драму о фараоне Хеопсе, его пирамиде, стоящей жизни ста тысячам рабов. Аллюзия в эпизоде завершается предупреждением вождя.

В немногочисленных человеческих связях Вадима есть фигура, которая плохо вписывается в картину наваждения. Востокоев, стигматолог Филуметев, прочитавший его рукопись, скопировал ее, поначалу осторожно оценивая ее, но со временем смекнул. Однако человек рисковал и фаталит в конце концов пускается в откровенные рассуждения, махнув рукой на слезку. Вот тут-то и дает себя знать «моржеские раздумья», о которых можно споткнуться. Это пограничная полоса. Все футурологические гипотезы, исходящие от Вадима, Шатанинского, Филуметева и, как мы видели дальше, от Сталина, неизменно спотыкаются об этот «моржеский» бред, будто здесь табличка: «Мины».

«Немнужная страшная ночь», о наступлении которой говорит Филуметев, еще как будто не ночь, еще остается надежда на утро, но тут «неожиданный лик», который открывается при свете дня, все равно означает пустоту. Суть исторических

Но ему достает ума понять: недолго тому хватило «горения на всемирном алтаре возрождения, за пару годовков наыворот обернулось». А сам, казалось бы, неколебимый в обожествлении вождя, под воздействием полустерической речи Вадима «живо представил, как полвека спустя народ станет возносить успешному цезарю всескую и по масштабам злодейств почти беззвенную хулу...»

Никто в романе Леонова не скажет последнего слова, никто не преступит «порожек», чтобы с высоты верхней ступени вынести эсхатологический приговор. Вот-вот, кажется, оно будет сказано: «РОЛЬ ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА в небесном диалоге и должна была, видимо, сыграть гекатамбическая, брошенная антиподом к подножию Творца. «Вот, я общал Тебе, Предвечный, на козо променял Ты верных своих». Прозвучать оно должно было после жуткого «самубойства», самоубийства рода человеческого. Да ведь и сомнения-то отца Матвея и Никанора тоже пошли от тайны Творца, от Его будто бы неправоты или ошибки, давшей одинаковое право верным и неверным.

Есть все-таки основание, наблюдав вспыхивающее время от времени фантазии молодого общественика и будущего профессора передовых наук Никанора Шамина, пунктирником намечать его путь в никуда, в тупик. Не случайно поговаривали, что до тех пор как бы отсутствовали гипотезы, позволившие автору «вспыхивать», прослушав его в их авторе «даже не только очевидна или даже участника, но, глядя, и генерал-теоретика великого отхода».

«Кладбищенский сарказм» Леонова, имеющий исходную точку в лагуне на Старо-Федосеевском погосте, покрывает бредовый разгул фантазий Никанора, которому цифра 123 456 789 лет до угасания человечества, якобы предсказанная великими футурологами Запада, кажется ничтожной. Он полукрывает ее на семьсот процентов, переставляя цифры наоборот, да еще желая «подкинуть пару нулей справа». Тут и автор склонен признать в Никаноре «самую противоречивую... фигуру повествования», помогающую разоблачить «глубинную истинность Старо-Федосеевского подполья».

Из всех персонажей романа только Дуна с Дымковым в их путешествии за железной дверью колоны (откуда появился и куда потом исчез посланец неба) удалось увидеть человечество в «канун исчезновения», но рассказывает об этом Никанор со слов Дуни, грубо искажая всю картину. Гротеск здесь становится главной формой изображения — как еще можно представить читателя бред, наваждение и выставить Никанора в смешном виде.

МАРТИНАЛЫ

Почти все персонажи Леонова — маргиналы. Дымков и Шатанинский — само собою, но и вся семья Лоскутовых — социальные изгой, ширка и делец Дюрсо с дочерью Юлией, финнисектор Гаврилов и его дьялоха Абляев... Да и кинорежиссер Сорokin выключен из своей среды, как и Филуметев. Тут каждый достоин особого внимания, да про все сказать — не разотнись.

И все же о младшем Лоскутине, Федоре: неукротимый резонер и обличитель старшего брата-отступника, в отчаянии, заливаясь слезами «над вонючей сортирной дырой, бесчувственным губами, звал он дьявола, чтобы любой ценой выкупить у него спасение семьи». Но это было последнее стечение Юлии Лоскутовой, слезы его кончили «самы собой и навсегда». Он успел выработать в себе навык «отменять мифы прошлого». Предательство отца в самый тяжкий час жизни семьи — смертный, неотомленный грех — кладет канвою печать на Егора.

Несколько монотонно разыгрывается сюжет Сорokin и Юлии, в который органично вписывается Дуна, как и мавозитный длинный разговор Сорokin с Дуней в ресторане. Впрочем, роман не лишен диалогот, отчасти не успешных подвернуться авторской редактуры.

БЫВШИЙ СЕМИНАРИСТ

Венчает леоновскую дьяволиаду встреча и разговор Сталина с посланцем небес Дымковым. Леонов, конечно, не забыл и хозяина включить в ауру запредельности — этакий холодный ветерком конусится дымковский лба да еще проследить его полет, «пока не затихло что-то, внятное ему одному».

Изъявив собеседнику разницу между митинговой импровизацией на умственном уровне толпы и — штабной ревью над картой зашарпанного боя, он и начал ее озадачивающим прочтением: «Я обрел себя на труд и прокламе ближайшего поколения». И признанием неспособности Антипода заглянуть переживания народа «от скитаний частой перемены внутренних в его хозяйственном механизме». Диктатор определяет тему разговора: бля земная. Однако речь на эту тему (при всей кажущейся жесткой логичности) ветвится едва ли доступным рассуждением ошеломленного Дымкова змеиным клубком. Между тем она открывалась до пинизма. Он говорит о том, что в скорой победе за власть ими была использована природная тяга русских, выраженная в поговорке, «будто бы на миру и смерть красна, и тем более пусть любая нищета, лишь бы поровну». Оправдывая миф утращения, но и признавая их недостаточность, диктатор считает в случае поражения последний средством оздоровить мир — «предание его огню».

Тирани умен и коварен. С одной стороны, он критикует и а у практику опоры на «стандартное большинство», ущемляя при этом одаренность, гениальность. Признает, что октябрьский взрыв под лозунгом в с е г о в с е м разбулил сти-

хия, которая смысла все авторитеты — Бога, родины, государства, семьи, родителей, возраста, таланта, — и что когда-нибудь заманется и на а ш авторитет. С другой стороны, его футурологические гипотезы непременно содержат в себе крутые репрессивные меры.

«Правитель иноземного происхождения... плохо стится в московском Кремле» — вот что постоянно тревожит тирана. Он плохо верит в то, что можно с вековыми корнями можно перевоспитать с помощью кино и административным массажем в желательном направлении. И в то же время «русское племя» считает главным инструментом в решении поставленных задач. Тут ему, бывшему семинаристу, и приходится на ум «тысячелетнее воздействие христианства — не рано ли выкинули его на свалку?» Может быть, стоило найти некий гибрид или сделать искусственную прививку «пресловутой добра и правды» в коммунистическую программу?

И наконец: «только лагерный режим, исключая бунт и жажду, позволяет употребить силой потенциал работника с зарплатой сто процентного сеоания — без злы и копоти». Все и объем «вечных пирамид» превосходит все и объем заколенного в них камня.

Привлекает внимание написанный Леоновым «обмен опытом» нового тирана с «самым сердитым из русских государей» у его могилы в Архангельском соборе. На реплику Грозного: «Не захлебнись в кровью-то», — Сталин отвечает упреком, что, мол, у самого-то не хватило сил и решимости предотвратить смуту, хотя и «рубил своих бояр наотмашь», да и «недовольный», и догнул, что на отчий престол татарина посадили.

Вот чего Хозяин боялся — «недовольный» кого из своей семиморщинистости!

Сталин у Леонова предвидит свою посмертную (историческую) судьбу, но, не изменяя себе, принимает жесткие меры, чтобы убраться тех, кто способен на осуждение его поступков, его пути. В его уме тоже зреет мысль о цикличности цивилизации, когда в людском смысле окончательно «растворится библейская святость первоочеловека». Но он сопротивляется, ищет выход в разных направлениях. Да тут и повествователь угнетается, замечает, что для постижения его гекатамбы нужна «вообще заумная логика», так что не выжи с меня, читатель, коли я выберусь из нее только на самую поверхность. А она такова, что вождю для достижения некой фантастической цели понадобилась помощь из запретельного мира.

Да, Хозяину понадобился ангел Дымков. Зачем? Первый ответ значит, и ему не все на земле доступно, и он не всеисел в своих действиях приоткрывать исход человечества и, стало быть, продолжить октябрьский эксперимент. Значит, сила Шатанинского не справляется с этой целью?

А какая роль предназначалась посланцу небес в планах вождя, об этом предстояло рассказать на следующей встрече, которая, увы, не состоялась (так как ангелу все же удалось ускользнуть в свои пределы). Но намеки, что и туманно сформулированный, был сделан: в залу ангела под руководством вождя входило «поубавить излияние ревности похотей и мыслей для продления жизни на земле...» Еще более туманным был и «запасной вариант» решения проблемы, на который намекал вождь, имея в виду «специальным актом упрощения в двухдневный срок... даже если это будет сопряжено с катастрофой, срочно затопить, как иранский пожар...» Что «есть раздуть», что «затопить»? Вряд ли это стилистический промах Леонова. Скорее, еше одна недоговоренность, загадка, открывающая пространство, выходящее за исторические очертания сюжета.

Вся сцена свидания Дымкова со Сталиным — это попытка создать некий образ тирана, диктатора в знакомой стилистической оболочке и в оправдывающем архисложные футурологические гипотезы мистическом антураже. Эта-то особенность, этот выход за пределы уже как бы установившихся представлений о Сталине и вносит новизну в его образ.

МРАК ИСХОДА

И все-таки ничто так не дает почувствовать себя бездны на краю, холодающий мрак исхода, как вырождение человека, истощенность его физических, нравственных, психических ресурсов. Можно выстроить в ряд почти всех персонажей романа: апокалиптический смысл его угадывается в судьбах людей. Но почему из них Леонов выбирает, казалось бы, самого отверженного, слабейшего в сопротивлении, дважды предавшего — сначала веру и семью, а потом (в мыслях и рассуждениях) новую веру и власть Вадима Лоскутова?

И вкладывает в его бредовые речи дорогие ему мысли. Не только о России, ее истории, ее народе, но и те слова, которые ближе всего позволяют к разгадке его мистического иероглифа: «настижение прозрения потребует мощных потрясений с пороком библейского ранга во главе».

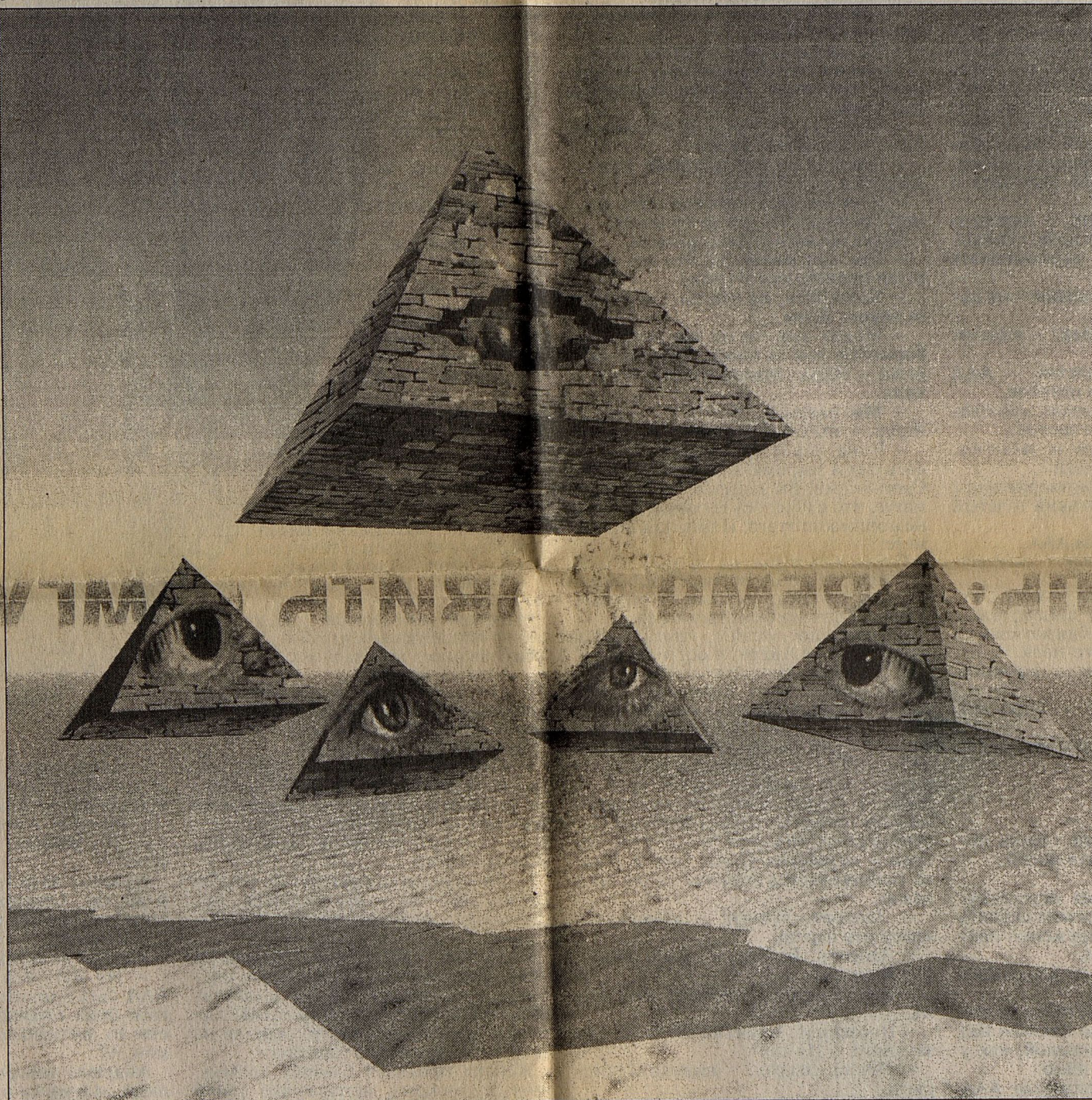
Они не отрицают идеи завершения цикла — об этом Вадим говорил дальше, но уже более многоословно и менее внятно. Приблизившись к сердцевине своих размышлений, автор упрямится и в маловероятную, большую фантазию героя. Идея эсхатологической цикличности мира (в том числе и христианской цивилизации) не сформулирована, но она идет вволю. А почему об этом — Вадим? Да почему бы автору «романа-наваждения» и не отдать эти мысли человеку, который «с детства отмечен был бесноватой гениальностью, какой застопу обзавелась вырождение?» Застопу — не всегда значит... Тоже загадка. Если все-таки иметь в виду типологию Леонова (не только в этом романе) к мистификациям, то это типогение укладывается во фрейдовскую догадку — человеческой мыслью преодолевать страх неведения.

Так что же такое «Пирамида» — образ библейского откровения о конце мира, апокалипсис, исход грешного человечества, завершающий цикл земного существования? В романе нет прямых ответов, но при желании их можно найти. Я попытаюсь это сделать, вполне допускаю иные прочтения. В ветхозаветном «Оборонении для иудеев Господи» сказано: «...нигде не исчезнут, как дым, и земля обожжется, как одежда, и жители ее умрут». Но тут же и надежда: «на Мое спасение пребывает человек, и правды Мое не престанет». Леонов прекрасно знает Святое Писание, но интерпретирует его «в своем ключе».

Так что же все-таки сказал Леонов своим романом мне, человеку, тоже уже прожившему долгую жизнь, познавшему голод и холод, репрессии, войну, унижение старости? Он подтвердил: нет правды на земле. Он позволил своим героям усомниться: а есть ли она выше? Но не предложил футурологической идеи, способной объединить людей, он приглашал их размышлять над нею. Смутной (и страшной!) надеждой она замыкается на предположении Филуметева о слиянии в гд-то в заколупном тихом отроке, «послеэтарном благодетельном изверге», который ценою безмерной крови отсрочит на век-другой «неизбежный финал людского цикла».

«Пирамида» — роман исхода человечества. Но все-таки не оставим без внимания — это не просто роман, а «роман-наваждение».

Мало ли страшных видений и призраков является нам во сне и наяву...



Коллаж Сергея Бомшметина

вославно духовенства, смирившегося с поруганием Церкви... Говоря о том, что пасть правжизню, пригласил известный эпизод из воспоминаний Горького о Толстом — когда великий писатель земли русской, остановившись по надобности у изгороди, указал своему спутнику, что хозяин и жизни.

По словам Шатанинского, человечество вступает в царство «бездграничной свободы», что само собою отменяет понятие греха. Идея эта, витиевато и многословно излагаемая, на бытовом языке означает, что Творец совершил ошибку, изгнав из рай первоочеловека, а Голгофа Христа стала актом искупления. И, стало быть, в результате должно произойти применение Добра и Зла. А поскольку эти «контрабандные мыслишки» посещали и отца Матвея, то он сообщает Лоскутову, что его «все мы» (1) наместили в «обновлении веры».

Ход познания дьявольский! Корифей науки добивается от отца Матвея словесного признания и произнесения риторической фигуры оксюморонного содержания, не имея сил произнести слово из р е х букв (Бог) и подражая его соединению с Становой. Это, однако, привело отца Матвея к окончательному разрыву с Шатанинским и изгнанию его из дома.

ВЕРООТСТУПНИК

А ведь именно Шатанинский сыграл решающую роль в предательстве веры Вадимом, вовлекая его в воинствующее безбожие. В нравственном плане Вадим оказывается фигурой чрезвычайно сложной. Умный и искренний юноша, он как-то легко попался на уловку антирелигиозной пропаганды и с пылом неохота включился в нее, как бы опьяненный грех своей социальной безбожности. И преуспел настолько, что ходил в передовиках, считал что-то художественно и был принят в РАПП. Сделав карьеру на громком показном отступничестве, он-таки поскользнулся однажды, ответив резкой репликой на провокацию, и тут же понял, что это провал, крах карьеры. Вот тогда-то Вадим по-настоящему ощутил едкий страх одиночества, отягченный неуспешной слежкой, ожиданием ареста, возмездия, тогда-то и вспомнил Того, Кто в саду Гетсиманском, — мол, хоти и Бог, а тоже, наверное, испытывал страх...

Встреча Вадима с Никанором, их идиллический диалог, по сути — монолог Вадима, изрекла прерываемый репликами Никанора, воспринимается как осуществление желания скертника не оставить невысказанными влиившие ему видения прошлого, настоящего и будущего. Но этому предшествовал его замысел кое в чем «образу-

ошибок на примере России он объясняет тем, что «зачина отроком производится на полном разгоне звездного полета. Футурологический иероглиф Филуметева — тире и клин (— /) расщепляется так, «...двигается ли к солнцу в братской шеренге, плечом к плечу или коматой устремляется в ночь с единым мозгом на острие и несметанным роєм позиди, чтобы где-то за рубежом истории взаимно исчезнуть в братском объёме короткого замыкания...» (У Никанора, наоборот, иероглиф клина и тире (— /), где клин — журавлиная стая избранных, с неизбежной гибелью отстающих в пути, и братская шеренга большинства, устремленная к звездам.) О судьбе Филуметева и говорить нечего. Рукопись же Вадима, найденная у профессора при аресте, не вызвала интереса — не была понята.

Образ Вадима автор опутал сетями невероятного смыслового и стилистического разноречия. Уже после предельного откровения перед Никанором он говорит о «настоюще раскрытой личностности Вадима как исторической личности», но... с точки зрения «нашей целостности», но... с точки зрения «нашей целостности», то есть как бы вадонку стилистической экспрессии начала монолога посылает иронический пассаж, как раз Вадима-то вроде и оправдывающий. Но опять-таки — нет! — ведь и впрямь, как «историческая личность» он несоответствует и уже в любой позиции заслуживает осуждения. И тем более парадоксально, что в порывисто-иступленном моголе Вадима встречаются мысли о русском народе, его положении в мире, и как не покинут друга детства, над которым занесен топор палача. Он тоже не прост для разгадки, Никанор Шамин, сын спившегося церковного прислужника, «передовой студента», стипендиат, примерный ученик Шатанинского и — друг семьи Лоскутовых, посвященный во все их житейские нужды и несчастья, любящий в Дуно. И на него, последнего поклонника Шатанинского, исходит «апокалипсис Никанора».

Никанор спорит с Вадимом как догматик, слабо опровергая футурологический бред друга.

ГЕНЕРАЛ-ТЕОРЕТИК

Никанор высказывает предельную речь Вадима, иногда возражая, иногда с сочувствием и проявляя мужество уже тем, что не покинул друга детства, над которым занесен топор палача. Он тоже не прост для разгадки, Никанор Шамин, сын спившегося церковного прислужника, «передовой студента», стипенди